

Глава 11. Знамя.

— Заходите, пожалуйста, Всеволод Николаевич, гостем будете... Проходите...

Пока Левин возился у порога, Саргылана нырнула в свою комнату, а Майя успела привести себя в порядок, поправить причёску. Только заплаканные глаза выдавали её. Но старик, кажется, ничего не заметил.

— Незваный гость, как известно, хуже татарина... Однако из всех чингисханов я самый смиренный... Если какой ясак потребую, так разве что тарелку супа. Моя Акулина по гостям поехала, так что я сирота.

— В один миг! Саргылана Тарасовна, выбирайся сюда, поухаживай за гостем, пока я на кухне...

Делать нечего, Саргылане пришлось показаться.

— А, Саргылана-детка...

Левин причёсывал свои пышные усы. В какое-то мгновение Саргылана перехватила в зеркале его внимательный взгляд. Захолонуло внутри: «Знает! Если спросит — умру со стыда». Что-то он ей говорил, она отвечала, ничего толком не понимая.

— Что вы сказали, Всеволод Николаевич?

— Говорю, грех мой великий — до сих пор не побывал у вас на занятиях. Не везёт человеку: у вас урок — я занят, а свободен — у вас уроков нет. Но даю честное пионерское — как один тут мой старый друг говорит, — исправлю ошибку в ближайшие дни. Пустите на урок?

— П-пущу... — едва промолвила Саргылана.

— Ох-хо-хо... — Всеволод Николаевич поудобнее уселся в креслице, жестом пригласил девушку устраиваться рядом. — Меня нельзя не пустить. Потому что этих самых ребят, которых вы теперь учите, я самолично, коллега дорогая, четыре года пестовал... Вам, педагогам-предметникам, и не понять всей психологии учителя из начальных... У нас ученики — вот уж подлинно дети. Пока ведёшь эту малышню от первого до четвёртого, сроднишься с ними, как с собственными. Что там в шестом Алёша Баскаров поделывает? Не шалит?

Уж этот Алёша Баскаров! Вот кто доставил Саргылане хлопот — щекастый такой, с петушиным хохолком. Алёшин хохолок на уроке — вроде флюгера в ветреную погоду, туда-сюда, туда-сюда...

— Ой, шалит, Всеволод Николаевич! Но очень способный мальчик...

— Верно. Способности у мужика имеются. И знаете, Саргылана Тарасовна, от этого и шалун он. Быстрее всех решит задачку — и давай вертеться. Горе от ума. Нагружать его постоянно — другого выхода нет. А как там Таня Павлова?

Саргылана поморщила лоб, пытаюсь вспомнить.

— Да Таня же! Косички крючочками, бровей вовсе нет. На зайчонка похожа...

В памяти стала прорисовываться девочка с бледным остреньким личиком, действительно две косички вверх, неизменно тёплый платок на плечах, каждое слово клещами из неё тащишь.

— Да... Есть такая. Робкая девочка...

— Обратите на неё, Саргылана Тарасовна, особое внимание, — попросил старик. — Семья у неё исключительно трудная. Без матери растёт...

Саргылана одним ухом слушала его, а другим ловила каждый звук за окном. Добрую половину из тех, кого называл старый учитель, она, честно говоря, просто не помнила. Не знала и не узнает теперь никогда... Тем не менее она старательно кивала, а в одном месте даже засмеялась, поддержав шутку. На её смешок из кухни выглянула Майя Ивановна и, ничего не сказав, снова скрылась.

— Дайте мне расписание своих уроков, Саргылана Тарасовна. На следующей неделе я побываю у вас, послушаю московскую коллегу. Договорились?

— Договорились...

Боже, что я говорю! О чём мы можем договориться, если за той дверью чемодан собранный стоит! стыдно, стыдно! Улыбаешься, поддакиваешь, и в каждой твоей улыбке — ложь.

— Обедать! — позвала Майя Ивановна. За столом она спросила: — Что это вы так оживлённо обсуждали без меня?

— Мой предстоящий визит к Саргылане Тарасовне на урок... Приглашает на будущей неделе.

— Вот как!

Саргылана уткнулась в тарелку.

— Всеволод Николаевич, я... — Майя смешалась, не зная, продолжать ли. — Вы не обидитесь, если я сейчас вам... глупость скажу?

— Майечка, дорогая, — запротестовал гость. — Что за придворные церемонии со стариком?

Свечерело. Машина не появлялась, за окном было тихо. Саргылана поняла: не приехал шофёр. Ну и пусть! Майя отметила про себя: ожила девочка.

После обеда они удобно устроились в креслицах перед горячей печью. Свет мягко очерчивал их лица, руки старика, протянутые к огню.

Майя продолжала:

— Часто слышишь: молодым сегодня не понять давние года... И верно! Но вы, люди старшего поколения, вы-то понимаете, почему молодые не понимают?.. Уф, запуталась — «понимаете», «не понимаете»...

— Сеп-сеп... Ничего, Майя, говорите. Мы-то вас непременно поймём.

— Героические подвиги, необыкновенные люди... Под пытками молчали. На снегу спали. Без воды и без пищи, как в Сасыл-Сысы... Умом понимаю, но представить себе не могу — как возможно такое! Человек ранен... Сегодня бы с такой раной два месяца в больнице, да месяц по бюллетеню, да на курорт... А тогда перебинтовался человек кое-как — и снова в бой. Из железа он, что ли? Я вот палец приморожу — и в слёзы... Без еды, наверно, и дня не вытерпела бы.

Некоторое время они сидели неподвижно, слушали, как потрескивают дрова.

— Конечно, Майечка, не просто всё это. Сегодняшняя молодёжь с удивлением смотрит на сверстников Чапаева. А пройдут годы, и, может, вот на нашу дорогую Саргылану Тарасовну молодёжь молиться будет — она ведь, скажут, из невероятного поколения: атом, космос, целина, великие стройки... Саргылана в некоем роде с юных лет героическая личность — из столичного института добровольно уехала в нашу глушь. Как её будут называть те, что за ней следом пойдут? Орлицей! (Саргылана отвела глаза в сторону.) Разговор этот не прост. А вот насчёт железных людей могу сказать с достоверностью: люди как люди были. Тоже пальцы отмораживали — и больно было! И с голодухи волком выли. В отчаянии об стенку головой — и так бывало, да-с. — Левин усмехнулся. — Знаю, хуже нет старика разговорчивого. Но если желаете, послушайте одну историйку...

Тридцать с лишним лет назад в самый глухой из якутских наслегов они приехали поздней осенью — молодой учитель, его жена, совсем ещё юная, и сын в пелёнках. Осень уже лихо забирала. Вещей у них — что на себе надето. Да ещё армейский котелок с кружкой. Ямщик, который их вёз, посоветовал юрту двух бездетных стариков — хорошие, мол, люди, тихие. Один орон хозяева уступили жильцам, на другом спали сами. Учителя, русского человека с браунингом, старики поначалу побаивались не на шутку, но Ааныс разговорила их, расположила к себе, внесла спокойствие в их души.

— Переночевали. Утром я отправился представиться в наследный Совет. Нашёл избёнку, вхожу. Посреди комнаты стоит человек — длинный, ужасно худой, кости да кожа. Перед ним десятка полтора якутов, в шапках и торбасах, трубки в зубах. Он им какую-то бумажку читает — пламенно так выговаривает, как с трибуны. То и дело вздымает кулак над головой. Красноармейская шинель на нём, заломленная на затылок коммунарка. Я уже по-якутски мало-мало понимал, от своей Ааныс набрался, да и вообще...

Стою тихонько позади всех, слушаю: «Баям и тойонам, угнетателям бедняков... обломать рога без всякого разговора... баев вниз гнать, бедняков поднимать...»

Кончил он читать, поговорил с людьми ещё о том о сём, наконец разошлись все, остались мы вдвоём.

Отрекомендовался я. Ух, как он мне обрадовался — учитель приехал! Звали председателя Семёном Кымовым. Тоже воевал, из госпиталя едва живым выбрался.

«Вот уже в наслеге нас двое... Коммунистов! — говорит мне, да так у него это звучит, будто нас тысяча. — Уж мы им теперь покажем!» И костистым своим кулаком грозит кому-то.

Потом оглянулся на дверь, подаёт мне бумагу с печатью — ту самую, которую только что излагал.

«Будь другом, прочти, что из исполкома пишут...»

Сначала я и понять не мог, а когда понял, едва не расхохотался. Председатель-то неграмотный!

Рассказывает: когда вернулся из госпиталя с председательским мандатом, пошёл слух: «Семён Кымов большим грамотеем стал!» А он слухов не отводит — ведь грамотного богачи ещё пуще станут бояться...

Бумага та оказалась предписанием улусного исполкома насчёт дров для больницы — «заготовить и подвезти силами зажиточных хозяйств».

«Вот видишь, — говорит он. — Всё правильно я читал. Угнетателей запрячь в сани, а беднякам крылья дать! Так наша красная власть в любом документе нас учит!...»

Назавтра он отрезал половину своей канцелярии под школу, соорудил дощатую перегородку. Обошли мы вместе юрты, составили список учеников. Заносили в список только детей бедняков, председатель на сей счёт был неумолим. Заикнулся я было о семьях среднего достатка, он и договорить мне не дал:

«Чтобы Советская власть байских прихвостней обучала? Никогда! Знаешь ведь — кровь отцову не подведёт кровь сыновняя... От бая всегда бай получится».

И видели бы вы председателя в тот день, с которого наша с вами школа началась! Вычистил свою шинель, на гимнастёрке сам заплаты поставил (семьи у него не было, один жил)...

Рассадил я по скамьям ребят, человек двадцать пришло. Мешая русский и якутский (тоже волновался немало), стал объяснять детям, что есть школа, как мы будем заниматься и всё такое прочее. Кымов тоже сидит обочь, слушает внимательно, лишь головой изредка потряхивает — что-то ему в моих объяснениях не совсем нравится. Кончил я, и тут мой Кымов вскакивает с места, молча бросается за перегородку, а через минуту возвращается с Красным

знаменем в руках. Флаг наследного Совета. Поставил учеников строем, воздел знамя высоко и такую речь грохнул!..

Поздравляю, говорит, приветствую вас, красные школьники, с великим счастьем. Первая в наследие большевистская школа призвала вас к себе под это знамя революции...

Если оратора хочешь похвалить, о нём обычно скажешь: произнёс пламенную речь. И всё-таки, хоть и много я пламенных речей слышал за свою жизнь, такой, как Кымова, не приходилось — вот уж действительно живой огонь! Едва ли не слёзы у него на глазах, весь как струна, будто в небо летит, что-то орлиное в нём проглянуло. «Именем красных бойцов, отдавших жизни за наше счастье, поклянёмся быть верными знамени...»

Ребята по одному подходили под флаг, который Кымов в руке держал, звонкими своими голосочками повторяли слова клятвы: «До самой смерти будем большевиками...» Незабываемая эта картина, клятва у знамени... Да... Чертовски волнующая. Натура у меня грубая, солдатская, а тут стою, губы кусаю...

Потом Кымов флаг мне передаёт:

«От имени наследного Совета дарится школе знамя, чтобы всегда оно осеняло вас, бедняцких детей...»

И ещё говорит (обратите внимание, очень верные слова): «Нам нужны, — говорит, — не просто грамотеи, а грамотные большевики».

— Некоторые твердят в наши дни: «Школа извечно для одного создана — наукам учить». — Левин фыркнул недовольно в усы. — Таким бы с Кымовым поговорить! Он бы им уточнил формулировку. А то ишь ты! Впрочем, ладно, отвлекаюсь опять...

Так мы и начали свой первый учебный год.

Ежедневно, вместе с моими маленькими учениками, появлялся в классе и председатель Совета. Якутских учебников тогда в помине не было, да я тогда и вообще бы не смог по-якутски... Даю урок по-русски, Кымов тут же по-своему переводит ребятам. Правда, порою перевод его слишком уж затягивался, — вслушиваюсь, а он им не про стихи Пушкина, а опять о революции, о задачах Советской власти, о классовой борьбе.

Мне помогал и сам потихоньку учился, выводил на листке каракули. А когда ребята разойдутся, расспрашивал меня, что непонятно.

Я ему сказал как-то: «Сэмэн, всё вы со школой да со школой, о Совете своём не забыл?»

А он сдвинул брови — такой был характер, и гневом и радостью вспыхивал, как от спички. «Если ты так думаешь, — отвечает мне, — то глубоко ошибаешься, товарищ. В чём задача наследного Совета? Советскую власть

укреплять. Как её укреплять? Воспитывать молодёжь, готовить себе достойную смену. Всё, что завтра, — всё в детях. Для большевика нет на свете задачи главней, чем воспитание молодёжи».

Был он человеком поистине государственного ума — такое о Семёне я бы смело сказал. Пусть и необразованный и незнаком со всеми тонкостями большой политики, а большевизм всем своим существом понимал. Да что там... Я со своим семинарским образованием, с партийным опытом, а от него много почерпнул, многому научился.

Лишь однажды мы с ним крупно не сошлись. Такая история вышла. Старый Байбас привёл ко мне своего младшего — смышлёный парнишка, на моего Сашку чем-то похож, такой же нос картошкой. Очень мне понравился. Ладно, говорю, пусть учится. Хотя знаю — Байбаса к беднякам никак не причислишь. А вечером влетает ко мне Кымов — когда только успел прослышать, — лица на нём нет, глаза горят бешено. Ужинали мы как раз. Он ни «здравствуйте», ни к Сашке, как обычно, а с налёта кулаком по столу, так что жирник замигал: «Ты мне, Левин, только одно слово скажи — коммунист ты?» — «Коммунист», — отвечаю. «Врёшь! Лизоблюд ты! С богачами спелся».

Тут и я взорвался от таких слов — душа терпит, да меру знает.

«Я спелся? — кричу. — А ты знаешь, кто моего отца с матерью изничтожил? Знаешь, сколько ран на мне самом?»

Однако тут же спохватился, понял трезвой головой, что таким манером мы далеко с ним зайти можем. Он ведь дипломатии ни в чём не признавал, ломил напролом. Ладно, думаю, пусть из нас двоих я буду умней. Сдержал гнев, пытаюсь спокойно ему объяснять. Про то, что дети за родителей не ответчики, что нам никого из молодёжи не следует отдавать в руки каких-то иных воспитателей... Постоял, послушал он, набычившись. Потом надвинул свою коммунарку на лоб, уже на пороге обернулся — скулы у него алеют болезненным румянцем: «Вот попомни, Левин. Пока я сижу председателем Совета, ни одно байское порождение учиться на средства Советской власти не будет! Я тебе это официально говорю. И старика Байбаса об этом предупредил». Видимо, предупредил он старика серьёзно — сын Байбаса в классе так и не появился. Жалко было мальчонку...

Белым пеплом подёрнулись угли в печи, синие языки изредка пробегали по ним.

— Этого Байбасова сына... Федоркой звали? — спросила Майя.

— Да, именно... — очнулся Левин. — Фёдор Стручков. Он всё-таки учился потом, в колхозе бригадиром работал. Ушёл на фронт, под Ленинградом погиб.

— Так что же он... Кымов-то ваш! — увлечённая рассказом, Саргылана уже забыла прислушиваться к улице. — Диктатор какой!

— Диктатор? — усмехнулся старик. — Тогда, Саргылана Тарасовна, и слова-то такого, как мне представляется, не знали. «Диктатура» — это было. Диктатура пролетариата... Ею-то мой Кымов как раз и руководствовался. А «диктаторами» в те времена у нас в Сосновке знаете кого звали? Только я домой заявлюсь на каникулы, как ко мне народ идёт письма диктовать — шутка ли, грамотный человек объявился! Отец, бывало, выглянет в окно: «Опять твоих диктаторов чёрт несёт!» За мой долгий век, дорогая Ланочка, не одно слово обличие изменило... Вам, как преподавателю русского языка, можно было бы на эту тему интереснейшую беседу придумать... «Богатей», думаете, всегда так и было ругательством? «Бедность», думаете, всегда одинаково понималась? Кстати, как вот вы лично понимаете слово «бедность»?

— Ну, это все одинаково понимают! В доме мебель бедная, на человеке одежда бедная, некрасивая...

— Э, «мебель»! Вот вы бы по-тогдашнему бедность представили. Полсела в трахеме, в лишаях, а на селе не то что полфельдшера нет, медсестры какой-либо... Вообще никакой медицины, начисто! Можете себе такое вообразить? Юрта прямо на земле стоит. Едва угаснет камелёк, и уже чувствуешь, как морозище надвигается на тебя. У нас с Ааныс одежонки никакой, что было тёплого — старались ребёнка укутать. Весь мой доход — учительская зарплата, и ту выдавали раз в несколько месяцев. Молодой я был, в расцвете сил мужик, а семья голодает, у самого, бывало, во время урока голова от голода кругом пойдёт.

Бедная Аннушка моя... Ни словом, ни звуком, всегда ровная, весёлая. Дал же бог характер! Вторим ребёнком она тогда уже ходила. И работала. За миску молока, за стакан масла... Соседям хотоны обмазывала навозом, за скотом ухаживала. Жена учителя! Я было настрого ей это запретил — не смей, и точка. Но что ей делать оставалось, на что рассчитывать? Одно дело — взрослый голодает, а у нас Сашка.

Когда Кымов на меня напустился: «Байский ты прислужник», — была у этих его слов своя особая подоплёка. Считалось всегда, испокон веков, если человек образованный, значит, он держится за богатых людей, за денежных — как же иначе! Зачем в таком случае и образование, если никто не оплатит его?

Вот и про меня на селе, наверное, думали: ничего, прибьётся к знакомому берегу и этот грамотей, укатают сивку крутые горки. Позже я хорошо понял, откуда была такая ярость Кымова, когда он из-за Байбаса набросился. Видимо, показалось ему: всё, сдался учитель, не устоял! А сельские «почтенные» и вправду нажимали на меня изо всех сил. Прихожу как-то раз с уроков, вижу в руках у Сашки лепёшку, толстенно маслом намазанную. Моя бедняжка Ааныс с восторгом глядит, как малыш уплетает за обе щёки. Что такое, откуда у нас

масло? «И тебя угощу», — говорит жена и достаёт миску доверху, прямо-таки в глаза ударило сиянием — жёлтое такое масло, от одного вида его по животу тепло пошло. «Старый Маппый прислал гостинца. Сашка ему наш очень нравится...»

А Маппый в те времена был знаменитой в Арылахе личностью. Мироед из мироедов, настоящий эксплуататор. До революции наследным князьком был. Услыхал я о таком подарке, и словно над ухом другой голос зазвенел, кымовский: «Коммунист ты или байский лизоблюд?» Отвернулся я от Сашки, чтобы не видеть лепёшку у него в руках, говорю жене: сейчас же возьмишь эту миску и отнесёшь обратно. И чтобы никогда, ни в какие веки никаких гостинцев...

Ааныс прямо-таки со слёзами: «Сева, — говорит, — ведь мы потом заплатим за масло. Когда деньги придут... Глянь только на ребёнка, на самого себя. Как иголку проглотил. Сердце разрывается, на вас обоих глядя...»

Но я ей железным голосом: «Сейчас же возьмишь это байское масло и отнесёшь обратно».

Оделась моя Аннушка, ни слова больше не говоря, взяла миску под полу и ушла. Вернулась так же молча, разделась, забралась под одеяло. Лежит неподвижно. Старик я, всё давно в моей жизни было, так ужасно давно, что теперь об этом и вслух можно... Лежит она, и я лежу. На душе скверно, мысли куролесят, как мартовский ветер. Вот какую я для своей любимой жизнь устроил, жене своей, сыну своему единственному! Мужчина, глава семейства... Да так ли, думаю, верно ли я живу? Лежу, терзаюсь и вдруг чувствую её руку у себя на шее. Обняла она меня, ткнулась лицом в грудь, шепчет, вся в слезах: «Прости меня, золотой мой, милый! Я ведь знаю, что нельзя, что это вред тебе. Прости меня, не сердись. Мы без их масла проживём». Вот каким оно бывает, любящее сердце-то. Драгоценный подарок во всей судьбе моей — Ааныс, короткая любовь моя... Ну да ладно...

Левин потёр лоб, закашлявшись, виновато посмотрел на женщин.

— Такой вот я рассказчик. Начал об одном... Хотел рассказать, как я надежды этих самых баев обманул. Проходит некоторое время, и заявляется ко мне сын старого Маппыя как ни в чём не бывало. Отменный такой лоботряс, помню даже, как звали его — Никулааскы... То-сё, разговоры всякие, а сам посматривает на нашу нищую юрту — стены её с углов морозным куржаком взялись. Как же так, говорит, в таких вы условиях живёте, маленького мальчика пожалеть бы надо. А у нас, говорит, в большом доме комната пустует, сухая и тёплая. Налоги, говорит, совсем заели, деньги нужны, сдадим комнату постояльцу с удовольствием, за умеренную плату. Да вот, говорит, я как раз на лошади приехал, вещей у вас немного, хоть сейчас могу забрать. Раз Советская

власть, говорит, не в силах позаботиться о таком человеке, так хоть мы сами должны друг другу помогать...

До поры я ещё слушал болтовню Никулааскы, но, как зацепил он своим языком нашу власть, тут у меня всё и вскипело — вспылчивый стал у меня характер в Арылахе, будто от Кымова заразился! Так я на байского отпрыска нажал, что тот за порог юрты чуть ли не кубарем. Кымов мне в тот же день: «Что-то к тебе Никулааскы пожаловал?» Рассказал я, как было. Кымов слушает, да вдруг шапкой об пол, расцвёл, будто я ему невесть какую отрадную новость преподнёс. «Вот это да! — кричит. — Смотри-ка! Купить нас захотели, вот это да! Не даёт им наша школа покоя, никак не даёт! Это ведь здорово, Болот! (Он меня не Всеволодом, а Болотом для краткости звал.)

На другой день явился ко мне председатель Совета с двумя вёдрами, с лопаточкой специальной, обмуровали мы юрту льдом как следует. Сразу внутри теплей стало. А ещё через день тот же Никулааскы привозит мне на своей лошади целый воз сухих дров старой заготовки. Глаз не поднимая, пошвырял и уехал. Можно себе представить, какую с ним провернул организационную работу боевой председатель наследного Совета!

Поняли те, что добром меня не взять, переменили тактику. Я как-то сразу это почувствовал. Крепко им захотелось выжить русского учителя из села! Всех каверз теперь и не пересказать.

Якутские дети сначала робели, но потом пошло у меня с ними всё лучше, а кончилось тем, что уже ходят за мной, как цыплята за наседкой. Удивляюсь я себе: как-то поначалу не мог различить их друг от дружки. На самом же деле они такие разные. Но вот случилась в нашей школе беда — заболел самый маленький из моих учеников, ёжик такой был, Чуораан. Страшные рези в животе, криком кричит. Родители — к шаману, пригласили камлать. Тот и напел им под свой бубен: «Это от школы всё! Дух родного нашего Арылаха рассердился очень. Со всеми учениками то же самое будет, в ужасном гневе мать-богиня...»

Умер Чуораан. Прихожу в класс — ни души, ни следа на пороге... Вот и Кымов влетает. Обвёл взглядом пустую комнату, шмякнул свою шапку на стол — она у него всегда за всё в ответе. Сидит, молчит. Потом мне: «Что же дальше? Как советует в таких случаях поступать марксизм?» (в последние недели я с ним усиленно занимался теорией коммунизма.) Что тут ответишь? Сейчас это просто смешной пережиток, а тогда суеверия, власть шамана над людскими душами — всё было такой дьявольской проблемой, даже не вообразите себе. Недаром у Ленина: религия хуже всякой сивухи, она из человека раба делает. Пожал я плечами, честно говорю ему, не знаю, Сэмэн, что и предпринять. Но вот глаза Семёна останавливаются на знамени, что со дня

открытия школы у нас на стене висит. Срывается он с места, хватается флаг. «Никуда не уходи, — говорит, — жди меня здесь», — и выскакивает из школы.

Такой он был, преднассвета Кымов. В могущество Красного знамени верил безгранично. Всегда говорил: человек у этого знамени, — если только он не бай, не белобандит — никогда не скажет неправдивого слова, никогда не сделает вреда родному народу. Я взглянул в окно. На санях, с развёрнутым знаменем, рвущимся по ветру, Кымов летел селом. Уж не знаю, что он говорил сельчанам, как пересилил запрет могучего шамана, только не прошло и часу, как стали сходиться в школу ребята, те, что поближе жили. Входили по одному, боязливо поёживаясь, озираясь, будто впервые в этот класс попали, будто это какая-то людоедская пещера... Видя, что я — хоть и проклят шаманом — цел и невредим и страшное предсказание не спешит сбываться, мальчишки мои несколько приободрились. Но всё-таки стол мой огибали подальше и на разговоры отвечали нехотя, через силу.

Можно представить себе, какое невероятное испытание выпало этим маленьким, неискушённым сердцам! Они уже всем своим существом жили в мире советской школы, того светлого, что каждый день открывает учёба, они любили меня и знали, что я их люблю. Но шаман! Страх перед ним с молоком матери впитан!

Вскоре неукротимый мой Кымов привёз на санях остальных учеников. «Они хорошие ребята, — сказал он как истину, добытую в итоге всего этого трудного дня. — Они славные ребята, я каждому из них верю. Помнишь, как они клялись перед знаменем стать настоящими большевиками? Они ими станут». Нужно заметить, предсказание Кымова сбылось: именно из ребят того давнего нашего школьного выпуска и выросли первые комсомольцы наслега. И Лэгэнтэю Нохсорову, когда он колхоз ставил, они первыми помощниками были. Никто не затерялся в жизни, о каждом можно сказать: оправдал надежды...

Возобновились наши занятия. Подумалось — отступились недруги, кончились мои тревоги. Да как бы не так!

Прихожу однажды, ребята сгрудились у крыльца. «Почему не заходите?» Показывают на дверь. А к двери бумажка прикреплена. Череп со скрещёнными костями и печатными буквами: «Учитель, даём пять дней сроку, не уберёшься из Арылаха, получишь пулю в лоб».

Ребята смотрят мне в лицо, следят, как я читаю, от страха глазёнки вытаращили. С самым беспечным видом, весело усмехнувшись, снимаю бумажку с двери, не торопясь, рву на мелкие клочки и пускаю по ветру с ладони: «Пошли учиться!» Вздохнули они, обрадованные, кинулись по местам. И всё-таки в этот день какой-то особенной была тишина в классе — звякнет за окном, все вздрогнут, как по команде.

Вечером было собрание в Совете, задержался я, возвращаюсь домой совсем поздно. Вдруг из-за поворота тень мне навстречу — я уж было браунинг взвёл. Гляжу, мой ученик, Тихон Абрахов. Этаким длинный подсолнушек, на глазах вытянулся в подростка, торбаса уже отцовы носит. Вытаскивает из-за голенища нож. Протягивает мне.

«Что это?» — ничего понять не могу.

«Нож», — отвечает.

«Зачем он мне?»

«Пригодится, может быть...»

На другой день Ааныс вышла первой из юрты, глядь, такая же бумажка у нас на двери. Принесла, показывает мне, а у самой руки дрожат.

Опять череп, те же каракули. «Берегись! — начертано. — Погибнет и жена с ребёнком. Из твоего срока осталось 4 дня». Еле успокоил её.

— А сами-то хоть немножко испугались? — спросила Майя.

— Да как их объяснишь, свои чувства! Конечно, не каждый день такие письма получаешь, с черепами-то. Только что делать было — хоть дрожи, хоть песни пой, а жить надо. Прошёл срок, ими назначенный, я по-прежнему являюсь на занятия, и ничего мне. Попугали, значит. Что-то вроде психической атаки.

Только как-то за юртой в снегу нахожу я разбитую керосиновую бутылку, приглядываюсь, а одна стена у нас вроде бы закопчена. Юрта льдом обмурована, как стекло звенит — разве тут от бутылки загорится?

Шучу сейчас, а тогда не по себе было. Понимаю, не так уж они безобидны, эти черепа да кости. Стал браунинг на ночь под подушку класть, сплю беспокойно, вполслуха. Через два дня после этой керосиновой находки слышу сквозь сон — за стеной осторожные шаги, снег похрустывает. Не зажигая огня, ноги в валенки, шинель на плечи, тихо выбираюсь из юрты. Смотрю, прижался в тени дровяной поленницы человек. Ночь лунная, видно.

«Кто там? — говорю негромко. — А ну-ка выходи, стрелять буду!»

«Э-э, Болот! Не стреляй, Болот, это я», — очень знакомый такой голос.

Подхожу, на чурбане Кымов сидит, Семён Семёнович, собственной персоной.

«Ты что тут делаешь?»

«Да вот сажу», — говорит.

«Вижу, что не стоишь. А сидишь зачем?»

Мой друг вытаскивает из-за пазухи револьвер, величиной с добрый собачий окорок, — где только раздобыл такой. Выразительно повертел у меня под носом: «Понял?»

Поверх старой шинели у него заячий зипунишко, ещё более ветхий. Замёрз мой Кымов, едва губами шевелит, как говорится, пегого жеребёнка родила...

«И давно тут сидишь?»

«Вторую ночь... Бутылку видал? Только боюсь, что заприметили меня, сволочи, не показываются. А показались, были бы им череп и кости!»

Покурили в полночный час на чурбачках, поговорили о том о сём. Кымов утром в улусный центр ездил, вести нехорошие там. В Эсэляхе, в самом глухом углу, шайка собралась — белобандиты беглые, местные кулацкие выродки, жульё всякое. Немалая компания получилась. Промышляющих охотников в тайге силой к себе залучают. По ночам в избы врываются, морды платками завязаны, еду отбирают, охотничью справу, берданки. Ограбили лавку, а продавца убили...

«Наверно, Болот, придётся нам днями ещё немножко повоевать».

И действительно, не проходит и недели после этого нашего разговора, как вызывают коммунистов улуса в центр — по тревоге! Организовали нас в боевой отряд, человек около сорока, оружие, пулемёт. ГПУ накануне одного бандита живьём схватило, тот на допросе всю их систему раскрыл.

Отправились. Мы с Семёном на одних санях. Говорю ему: «Как в песне получается: бросай своё дело, в поход собирайся! Сколько ещё раз в жизни эту песню вспомнить нам придётся?»

А он: «Может, Болот, это самый последний раз. Смотри, уже почти совсем чистое наше небо...»

Так и сказал: «Может, это самый последний...»

Бандит-проводник показывает: здесь. Чащоба, действительно, самая волчья. Стягиваем кольцо. Всё тихо. Сначала даже сомнение взяло — не привёл ли нас бандит в пустой лес? Ползком по снегу, оружие на изготовку. Ничего... Кое-кто осмелел, в рост подниматься стал... И вдруг как полыхнёт ружейный огонь, да такой плотный. Оказывается, у бандитов ямы, землянки — забрались вглубь, как кроты. Залегли мы, стали им отвечать. Только всё попусту — наши пули для них ничего не значат.

Совсем светло стало, можно осмотреться, прикинуть, какова у бандитов дислокация, куда их подземные ходы-выходы идут. Наш командир, уполномоченный ГПУ, своего пленного за собой по снегу таскает, заставляет объяснять, что к чему. Слышим: «В той крайней траншее братья Онтоевы». А эти Онтоевы как раз из нашего наслег. В прошлом году корову украли у соседа, да попались, бежали в лес.

«Это же бедняки, — говорит Кымов. — Самые настоящие бедняки из бедняков, на преступление от голода пошли. Они же не баи, у них сердце для правды открыто. Я поговорю с ними. Они нам путь дадут».

Никто и сообразить не успел, а Кымов уже ползёт в сторону крайней траншеи, она от всех в стороне. Обернулся, ещё раз мне крикнул: «Это же наши, трудовые бедняки!»

Для Кымова слова «трудовой бедняк» как высшая похвала звучали. Чистота и благородство бедняка были для него вне всякого сомнения.

Вот он уже перед самой траншеей, шумит им: «Хабырыыс! Егорша! Это я, Сэмэн! Послушайте-ка, что скажу!» И дальше — про Советскую власть им, про чёрные дела баев, про союз всех бедняков на земле. «Не стреляйте! — кричит. — Я сейчас подберусь к вам поближе и ещё скажу. Не стреляйте, убьёте одного меня, какая вам польза? Я спасти вас хочу. Вас богачи в ловушку заманили». Молчит траншея. Семён и вовсе ободрился: «Не бойтесь меня! Смотрите, я же без всякого оружия». И тут встал в полный рост, показывает свои пустые руки.

Ах, какой болью сжалось у меня в тот миг сердце, даже дышать перестал. Как во сне все — вот сделал он шаг, ещё один и ещё, руки протягивает вперёд, как-то так доверчиво, по-детски выгнул ладони... Они выстрелили в него в упор. Бедный мой Семён, словно недоумевая, развёл руками, простонал: «О-о, несчастные!..» — и упал. Не помню уже, как схватил гранату, как кинулся к ямам с криком «Семён! Семён!», словно ещё можно было что-то поправить.

...Снова мы возвращались в Арылах вдвоём: я вёл лошадей, голова у меня перебинтована. А на санях бьётся о перекладыны окаменевший на морозе труп Семёна, всё в той же шинели и коммунарке.

Скорбная весть о смерти нашего председателя уже облетела Арылах, встречал нас буквально весь наслег. И тут-то я понял по-настоящему, как его любили люди, как дорог и нужен был всем этот костром горящий человек! Бережно снимали его тело с саней. Не могу и передать вам, как велико было моё горе. И не знал я, что было это всего только полгоря. Ещё ужаснее весть ждала меня в селе: не стало моей Аннушки...

Судьба словно решила добить меня одним разом, чтобы после такого уже и не поднялся. Память смешалась, ничего не могу вспомнить связно. Помню, как в отчаянии сорвал кровавый запёкшийся бинт с головы... Как иду снежной целиной, утопая по пояс в снегу, иду напролом, кто-то хватает меня сзади за плечи, хочет остановить, но я вырываюсь, снова иду, и снег видится мне красным...

Она умерла, не приходя в сознание. Не спасли и ребёночка, которого носила. Умерла...

Она трудно переживала эту свою беременность. Всё сказалось: голод, подёнщина. Когда стали подходить сроки, Аннушка и вовсе почувствовала себя худо, решили её везти в улус в больницу. Запрягли молоденького, едва объезженного жеребчика, а везти нарядили подслеповатого калеку Хоосою,

совсем старика. Через час после отъезда Хоосой вернулся в разодранной шубейке, без шапки: «О, беда!» Жеребчик раздурился, понёс, сани врезались в придорожную сосну...

Их так и похоронили — в один день и час. Две могилы рядом — Аннушки моей и Семёна...

Какие-то люди приютили Сашку, накормили и спать уложили, я пришёл после похорон, всю ночь при свете жирника просидел в ногах у спящего мальчика, глядя на его лицо — с длинными, как у Ааныс, ресницами, с остреньким, как у Ааныс, таким милым подбородком и с ямочками на щёках...

Тогда-то, в ту страшную ночь, и пришло ко мне твёрдое решение: надо уезжать отсюда. Спасти хоть мальчика, Сашку. Кроме него, у меня никого не было. Уезжать в Томск, на Урал, за Урал, как можно дальше... Панический страх охватил.

В день отъезда я пошёл попрощаться с дорогими могилами. Безмолвно было на кладбище, берёзы стояли в куржаке, небо мглистое, тяжёлое — ни день, ни ночь.

Долго просидел я там неподвижно, тоже весь куржаком покрылся. Совсем стемнело, огоньки в селе покраснели.

Вспомнилось мне, подъезжали мы к Арылаху впервые, увидели эти самые огоньки. Аннушка нашему маленькому Сашке показывает: «Смотри, тоюуом, какие светлые! Скоро дома будем. Жить здесь будем...».

Всю дорогу мечталось ей — будет у нас большой, из звонкой сосны рубленный дом, все окна залиты светом. И никто не минет дома учителя, ни путник, ни сосед. Всякий зайдёт, и для всякого во всякое время будет накрыт стол. Она так и не увидела ничего этого — ни дома своего, ни самовара на столе... Ютилась в углу чужой нищей юрты, даже малышу кровати не нажили, клали тут же, на скамью.

Семён Кымов, бывало, подтрунивал над ней: «Ага, не захотела переехать в хоромы к Никулааскы! Он тебе и пуховое своё одеяло отдал бы...» Они часто так подтрунивали друг над другом. Удивительное дело — что-то новое, вроде бы даже не свойственное им, приоткрывалось в характерах, когда они были вместе. Ааныс тихоня у меня, улыбка у неё смиренная. А Семён суров был — брови сдвинуты, коммунарку свою, случалось, так стиснет в кулаке, что пальцы побелеют... Но вот когда вместе сходились, становились они такими задирами, такими весёлыми колючками — что Семён, что Ааныс... Он ей про байское одеяло вспомнит, а она ему: «Хорошо тебе говорить, когда у тебя вон какая шинель, лучше всякого одеяла». А шинель у него от заплат и в самом деле на лоскутное одеяло стала похожа... Может, я один и знал до конца, какие весёлые души таились в них, как бы они могли раскрыться, эти дети сурового века,

поживи ещё, дожись, когда жизнь станет легче... Мало, очень мало получили за все свои муки! Им бы жить да жить. Ведь что ему, что ей, всего по двадцать с небольшим было... А они уже лежат в земле, в двух шагах друг от друга.

Я едва не закричал при мысли о такой дикой, такой невероятной несправедливости. В земле оба — почему, за что?! Не за то ли, что их судьбы оказались связаны с моей? А мне словно на роду написано — шагать и шагать по дорогим могилам... Каким бы ни был суровым век, но не всякому даже в те годы выпадало, чтобы так безжалостно обрубало живые ветки — ветку за веткой. Вспомнил, как хоронил братца с сестричкой, от «испанки» они... Белые отца с матерью порешили... Каландаришвили я не уберёг, второго отца своего... И вот Семён... И Ааныс, самое моё дорогое... Ну, а для жизни что сделал? — спрашиваю сам себя. Да почти ничего. Один школьный класс — и тот не довёл... Вот уеду завтра, а для ребят надолго — пока-то новый учитель сыщется! — прощай школа, прощай мечты, которыми ты сам же смутил ребячьи души...

Всеволод Николаевич повёл рукой перед собой, словно отмечая что-то.

— Нет, не высказать, что передумал я в тот вечер. Слов таких не сыщешь. Но одна мысль, которая неожиданно пришла тогда, и сейчас ещё всё кажется мне важной. «Да, завтра я уеду, — думал я. — Так повернулась моя судьба. Но ведь и у двадцати моих ребят, учеников, с этим отъездом что-то в судьбах круто изменится, пойдёт не так, как могло...» Майя, Ланочка, мы здесь все трое учителя. — Всеволод Николаевич повернулся к женщинам, под его большим и грузным телом креслице заскрипело. — Вам, без сомнения, хорошо знакомо это чувство. С него, собственно, и начинается педагог. Вдруг пронизывает оно тебя всего: ты педагог, и в твоих руках человеческие жизни. От тебя лично зависит, куда эти жизни повернуть — и у этого мальчишки, и у этой девчонки... Понятно, к каждому это чувство приходит по-своему и в свой срок. Но до меня оно по-настоящему дошло в такой вот невероятный час — на кладбище...

«Нет! — сказал я тогда себе. — Не надо больше никаких других мыслей. Одну себе мысль оставь — про Сашку. Уезжай без малейших сомнений!» Тут слышу хруст шагов, кто-то бродит по кладбищу. Несколько тёмных фигур в сумерках. Один держит на плече что-то похожее на деревянную лопату. Тени переминаются в нерешительности.

«Эй, кто там?»

«Это мы, учитель», — отвечает мне голос Тихона, старшего нашего.

Подходят. Все мои школьники.

«Зачем вы здесь? Почему с лопатой?»

«Это не лопата... Это флаг из школы».

«Знамя Кымова», — тихо говорит девочка.

И снова замолкли. Потом один спрашивает:

«Учитель, ты правда хочешь уехать?»

«Правда».

Опять стихли. Похрустывают снегом.

«А мы за Сашенькой могли бы все вместе смотреть», — говорит тот же девичий голосок, чуть слышный от робости.

Постояли, пошли прочь — медленно так. У кладбищенской ограды приостановились.

«Болот Николаевич! — это Тихон кричит. — Школы теперь не будет... Можно я знамя Кымова возьму?»

«Возьми», — отвечаю. И даже руками за лицо схватился, за свой перебинтованный лоб. Хлестнул, показалось, этим словом самого себя наотмашь! «Возьмите, — сказал. — Забирайте всё, что осталось от Семёна, мне теперь не нужно. Всё, что осталось от наших с Аннушкой мечтаний. От дней, когда под этим самым знаменем поклялся...».

Впрочем, тут уж философия пошла. О минуте, которой целая жизнь обязана. О том, знаете, что есть среди многих правда — одна главная, все себе подчиняющая. Не стану об этом, не ради морали рассказывать. Да, собственно, мой рассказ уже исчерпан. Вы, Майечка, спросили, было ли нам в те годы холодно на морозе. И больно, когда беда. Вот я и рассказал. Как видите, больно было. И малодушными мы бывали, и сомнения знали — всё, что человеку положено.

— А тогда, на кладбище?

— Ну, что тогда... Уже пропали в темноте мои мальчишки. И вдруг меня как бросило им вслед, ничего толком и обдумать не успел. «Постойте! — закричал. — Погодите, ребята!» Догнал их, кого-то за рукав схватил. «Завтра ровно в девять, — говорю. — Как всегда. Чтобы все на уроке были, без опозданий!» Ребята, чуткие души, все с полуслова поняли, ни о чём расспрашивать не стали, только закричали, как галчата: «Иэхэй! Придём! Ючюгэй!»

Вижу в сумерках — разворачивает Тихон знамя, руки у парня сильные, высоко поднимает его над головой и так идёт впереди всех. Словно сам Семён Кымов на минуту возник перед глазами.

Вот тогда я и заревел, прямо-таки навзрыд. Нервы не выдержали. Мужик... рёву... Ну, да ладно... Это я так... Что-то к ночи расчувствовался старче...

И впрямь, уже вечер был за окнами. От печи на руки Левина падал слабый свет.

Майя представила — этими самыми руками он свою Аннушку обнимал. Держался за ручки пулемёта. Поднимал окровавленного Кымова... Тяжёлые, с

тёмными набухшими венами руки человека, прожившего бесконечно долгую жизнь.

Стало так тихо, что было слышно тиканье будильника.

— Вот от какой беды спасли меня ребята, — сказал Левин. — Бежал бы я тогда — до конца дней своих грех в душе носил...

И тут Саргылана услышала за окном шум мотора. Фары едущей мимо машины ослепили окно, скользнули по стене. «О проклятая, неужели остановится? Проезжай, проезжай, прошу тебя...»

Но она не проехала. Шофёр заглушил мотор перед самым крыльцом.

— Эй, люди! — закричал. — Здесь учительша проживает? Мигом давай, ночь на дворе, опаздываем! Будь я проклят с такой шофёрской жизнью...

Майя обернулась к девушке.

— Вас, Саргылана Тарасовна...

Её только на то и хватило, чтобы потрясти головой: нет!

Майя выбежала на крыльцо.

— Здесь никто не едет. Отправляйтесь себе спокойно!

— Чёрт бы вас побрал! — выругался шофёр. — То так, то этак!

Майя усмехнулась в ответ: какой сердитый молодой человек.